

ИСТОРИЯ НАУКИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ

Д.А. Баюк

*Институт истории естествознания и техники
имени С.И. Вавилова РАН*

Аннотация: В статье обсуждаются некоторые практические последствия применения идеологии контекстуализма к проблемам историко-научного исследования. Историк науки стоит перед необходимостью исследовать не столько личность учёного и его труды, сколько идеи в контексте актуальной в период его активности проблематики, и репрезентировать результаты своих исследований в контексте своей современности, отличной от современности объекта исследований. Проблема множественности контекстов сродни проблеме множественности историографических описаний, что усложняет философский контекст поиска истины в историко-научном исследовании. К счастью, в некоторых случаях абстрактные философские выводы могут быть проиллюстрированы довольно наглядными примерами из современной физики.

Ключевые слова: история науки, философия науки, контекстуализм, дилемма Кангилема, междисциплинарность, метаистория, историографическое описание.

1. Семинар Тимофеева и дилемма Никифорова

В самом начале 2000-х гг. в ИИЕТ РАН проходили регулярные семинары под руководством И.С. Тимофеева. Их общую тему можно было бы обозначить в полном соответствии с заглавием одного из сборников, подводивших итог работе семинара: «История науки в философском контексте» [Печенкин 2007]. 27 сентября 2005 г. на одном из этих семинаров выступал известный российский философ науки А.Л. Никифоров, автор вышедших незадолго до этого переводов К. Поппера и учебников по философии науки¹. В отличие от большинства докладов как на этом, так и на других институтских семинарах, главной целью выступления было не сформулировать ответ на какой-то важный научный вопрос, а, напротив, задать этот вопрос присутствующим. Смысл вопроса заключался в том, что весь опыт работы докладчика с историко-научными материалами приводил его к убеждению в недостижимости истины в той дисциплине, которую мы называем «история науки и техники»:

¹ См., например: Поппер 2008; Никифоров 2010.

«Я посмотрел, как изменяются историографические описания со временем и как они разнятся даже в одном времени, в особенности в нашем. Я увидел вот что: во-первых, изменения в историографических описаниях связаны с изменением собственно науки: изменение парадигм влечёт и изменения взгляда на историю. История телеологична, и чего бы историк ни хотел, он должен привести её к современному положению дел. ... В-третьих, на историка влияют изменения в методологических вопросах. То индуктивизм, то вдруг Поппер „вылез“, то вдруг Томас Кун — со своей структурой. Историк хочет не хочет, а впитывает все эти вещи и руководствуется ими, когда приступает к описанию истории. Наконец [в-четвёртых], меняется сам массив данных, обнаруживаются новые документы...»².

Далее он добавил, что в отличие от философов, которые в большинстве своем предпочитают вовсе не использовать понятие истины, простые люди хотят знать, как же все-таки было на самом деле, и испытывают растерянность, когда им объявляют, что на самом деле всё было совсем не так, как они долгое время думали. И хотя именно к истории науки и техники у этих простых людей интерес минимальный, в этой предметной области вопрос, поднятый А.Л. Никифоровым, особенно остр.

Главная сложность здесь в том, что итогом исторического процесса развития науки является современная наука, которая сама по себе — целостный и сложный организм, функционирующий в соответствии с некоторой присущей ему внутренней логикой. Историк науки практически не имеет в своем распоряжении никаких инструментов, позволяющих ему исследовать жизнедеятельность этого организма и постигать логику его метаболизма. Максимум, на что он может рассчитывать, — это фиксировать определённые наиболее заметные продукты его жизнедеятельности. Но даже в этом он весьма ограничен: об этих продуктах он судит по привязанным к ним техническим достижениям и историческим свидетельствам, которые не может оценивать иначе, как в контексте современной ему науки. Таким образом, для историка науки более, чем для кого бы то ни было, уместна формула Кроче, что история — это настоящее, опрокинутое в прошлое.

Я не уверен, что присутствовавшие тогда на том семинаре историки науки поняли суть поставленной проблемы. По меткому замечанию одного из членов редколлегии нашего журнала, ещё совсем недавно едва ли не главный жанр, в котором выступали наши авторы, можно было бы описать так: выдающийся учёный имярек и его вклад в развитие науки. По самому своему описанию, жанр двухкомпонентный: сначала излагается биография учёного, а потом — его главные достижения. Для обеих частей есть свои специфические источники, которые позволяют достаточно точно установить факты и первого, и второго ряда.

Интерпретационные проблемы начинаются в то момент, когда исследователь отвлекается от личности учёного и пытается оценить его деятельность не в контексте современной нам, а в контексте современной ему науки. В большинстве случаев, если не во всех, приходится признать, что это совершенно иной организм, и дело здесь не столько в проблеме «презентизм vs. антикваризм», сколько в необходимости полагаться на свое воображение и фантазию и домыслить организм, продуктом жизнедеятельности которого стало важное для нас сегодня открытие. Научный контекст, современный открытию, был не менее важен для открытия, чем сегодняшней.

Резюме обсуждению подводили философы. Присутствовавший на том же семинаре А.П. Огурцов фактически поддержал предложение П. Фейерабенда изгнать «теоретического монстра» истины из философии³. Он определил истину как «трансцендентальный идеал», который уже в силу самого своего трансцендентального характера не может быть достижим. Историк, по его мнению, придётся удовлетвориться тем, что он может лишь судить об относительной правдоподобности предлагаемых историографических описаний.

² Запись из личного архива автора.

³ Более точно, Фейерабэнд говорил о том, что наука, в том виде, в каком мы её знаем, как «поиск истины», рождает монстров [Feuerabend 1993: 154].

Мне сразу же хочется добавить к этому рассуждению, что в своей общей формулировке оно приложимо не только к истории, но и к любой другой дисциплине, по крайней мере естественно-научной. Мы можем быть уверены в том, что атом существует и как-то внутри себя устроен. Теоретические модели более или менее точно описывают его устройство, и мы можем надеяться, что рано или поздно будет открыта, построена или изобретена модель с нулевым зазором по отношению к реальности, но пока её нет, она существует как идеал вне пределов посюстороннего мира. В этом смысле замечание А.П. Огурцова било мимо цели, поскольку докладчик хотел говорить об особенностях если и не только историко-научного, то, по крайней мере, исторического исследования. А если говорить о реальности исторической, то в ней дело сильно осложняется в сравнении с любой наукой о природе, так как слово «истина» с его онтологическими коннотациями к ней заведомо неприложимо: историографическое описание имеет своим предметом не то, что «есть», а то что было, и в этом смысле истина существует даже не в потусторонней, но сиюминутной действительности, а в мире идеального, не знающего времени.

Примерно о той же разнице говорит и Гадамер, формулируя её несколько иначе: если в естественных науках, в частности в физике, нас интересует закон или закономерность (как должно происходить или как происходит всегда), то в истории, как и в гуманитарных науках вообще, нас интересует конкретика: что случилось именно в этот раз (событие, оставшееся в прошлом) [Гадамер 1988: 46].

2. Метаистория и проблема источников исторического знания

Хотя процитированная А.Л. Никифоровым фраза хорошо знакома, я не смог найти ни ее, ни близкой ей по смыслу в работах Кроче⁴. Скорее, Кроче стремился последовательно провести прямо противоположную мысль: о том, что единственная возможная история — это история современная (*storia contemporanea*), а это означает, что взгляд, который историк обращает в прошлое, выхватывает из него то, что в настоящем имеет ценность: «[*la storicismo*] non si esplica in un desolante regresso verso un morto passato, ma prospetta tutto il passato nel presente, e affronta, agguerrito delle sue ricche esperienze, i problemi vivi del presente ([историзм] проявляется не в унылом возвращении в мёртвое прошлое, он проецирует прошлое в настоящее и выдвигает его, закалённое богатым опытом, против насущных проблем настоящего)» [De Ruggiero 1913: 85], то есть в каком-то смысле, в теории, настоящее — это проекция прошлого, насущные его проблемы (*i problemi vivi*) лучше понимать (*affrontare*) в свете прошлого опыта. Но из этого, в частности, следует и то, что по мере изменения настоящего, меняются наши суждения о прошедшем, то есть — история.

Если говорить об историческом знании вообще, в нем есть как минимум три уровня понимания. Во-первых, вопреки расхожей фразе об истории, не знающей сослагательного наклонения, она в действительности не знает никакого другого: в силу самой её природы, её качества обусловлены настоящим, потому изменение истории по мере её прогресса не должно нас удивлять. (Оставим в стороне вопрос о том, насколько приложимо сослагательное наклонение к прошлому, которое, как только что было сказано, отлично от истории. Укажу лишь на то, что вопрос этот нетривиален: убеждение в существовании отчётливой границы между тем, что произошло, и тем, что не произошло, сродни убеждению, что будущее строго детерминировано настоящим.) Во-вторых, материал, с которым работает историк, присутствует актуально, а не в прошлом. И хотя он служит своего рода мостиком, соединяющим настоящее с прошлым, историку доступны только современные ему следы прошлого, которые он может

⁴ Чтобы быть совсем точным, я процитирую, что именно было сказано: «Вот ещё был Бенедетто Кроче. Так он говорил, что вообще никакой истории нет, что это всё описания настоящего — архивных документов и прочее. История — это настоящее, опрокинутое в прошлое. Так, может, этот Кроче и прав, я не знаю», — то есть фраза произносится в связи с Кроче, но не приписывается ему дословно.

интерпретировать в силу своих знаний и фантазии. При этом его знания включают в себя прежние интерпретации тех же следов, но в иной момент времени. А раз момент был иной, то иной была и присущая интерпретирующему исследователю современность, но сам исследователь всё равно работает лишь с современными ему следами прошлых интерпретаций. Фантазии же включают знания о схожих источниках или даже не схожих, но как-то связанных с данным и потому возможно помогающих понять его. Наконец, в-третьих, так или иначе в своем анализе прошлого историк ориентируется на актуальные проблемы. В известном смысле, историцизм проецирует «il passato» не только «nel presente», но и «nel futuro», однако и в этом случае речь об образе будущего в настоящем.

Все три обстоятельства показывают, что и по направлению запроса, и по методам формирования историческое знание существует в контексте современности, хотя и рождает иллюзию, что современность всего лишь островок в потоке истории. Иллюзия усиливается благодаря сложившейся среди историков традиции репрезентовать свои исследования в нарративной форме, в виде реконструкций, загушевывающих границу между интерпретацией и фантазией. История предстаёт во множестве историографических описаний, об истинности которых не только невозможно делать никаких позитивных суждений, но, по-видимому, даже методологически неверно ставить вопрос. Безусловно, из этого множества можно и необходимо выбраковать абсурдные и логически ущербные реконструкции, но и после этого, вообще говоря, остаётся определённое количество относительно правдоподобных версий, стилистически разнородных и несовместимых друг с другом. Это множество и предлагается историку как предмет анализа.

Обозначенную проблему Х. Уайт в своей «Метаистории» формулирует в терминах «корреляции между тропологическими стратегиями префигурации и способами объяснения, используемыми историками в их сочинениях» [Уайт 2002: 492]. Стилистическое разнообразие историографических описаний непосредственно связано с методологическим и отражает его. Предложенный в заглавии книги термин «метаистория» служит метафорой для истории историй, хотя опасность дурной бесконечности возникает уже на первом шаге: при любом выборе тропологической стратегии префигурации автор сравнительного анализа существующих историографических описаний вынужден будет признать, что этот выбор не был единственно возможным.

3. Является ли история науки историей? Дилемма Кангилема

За прошедшее столетие и в науках о природе проблема верификации приобрела весьма неприятную для них остроту. Наряду с этой остротой обнаружилась и непредвиденная устойчивость многих теорий по отношению к весьма драматическим перестройкам их фундамента: даже зная, что мир состоит из атомов (электронов и квантовых полей), скорость света конечна, а время относительно, мы можем, хотя и с оглядкой, продолжать пользоваться классической термодинамикой и ньютоновской механикой.

Философский отказ говорить об истине в исследовании природы расценивается самими учёными как «атака на науку». Об этом часто говорят в кулуарах, а нобелевский лауреат С. Вайнберг посвятил этой теме главу «Против философии» в одной из относительно недавних своих книг «Мечты об окончательной теории»:

«Я подозреваю, что близок к истине Джеральд Холтон, который рассматривает решительную атаку на науку как один из симптомов более широкой враждебности к западной цивилизации, ожесточившей сердца многих западных интеллектуалов [...]. Современная наука является очевидной мишенью: ведь многие цивилизации породили великие произведения искусства и литературы, но со времён Галилея научные исследования практически полностью определяются Западом. Мне кажется, что совершается трагическая ошибка и эта враждебность направлена не

в ту сторону [...] Я предвижу день, когда наука перестанет ассоциироваться с Западом и станет общим достоянием человечества» [Вайнберг 2004: 148-149].

Природа атаки, о которой идёт речь, состоит, прежде всего, именно в нежелании признать справедливость претензии науки на способность находить путь к объективной и независимой от времени истине. Если предположить, что Вайнберг в своих заключениях прав, и науки о природе, в отличие от гуманитарных наук вообще и истории в частности, могут оперировать истинами, то можем ли мы ожидать, что специфика исследуемого материала оказывает свое воздействие на историю науки, сообщая ей некоторые качества, не свойственные общей истории? Как уже говорилось выше, история науки как особый род деятельности весьма неоднородна. Эта деятельность имеет две стороны, сущностную и внешнюю: сущностная сторона представляет собой работу с разного рода источниками, а внешняя сторона — это превращение результатов сущностной стороны в нарратив. В простейшем случае работы с персоналиями, сущностная сторона — это изучение архивов и трудов учёного, а внешняя — написание научной биографии для широкой публики.

Такая постановка вопроса заставляет вспомнить о французском философе Ж. Кангилеме, согласно которому история науки — это скорее ярлык, чем дисциплина или концепт⁵. Сам Кангилем прежде всего обращает внимание на противоречие между предметом исследования (*destination*) и его методами (*méthodes*): первое заставляет отправить историю науки на естественно-научные факультеты, тогда как второе требует найти ей место на факультете философии. Такая междисциплинарность, которая расценивалась бы как безусловное преимущество сегодня, в дни написания книги, в 1967 г., могла свидетельствовать только об ущербе. По установившейся ещё в советское время традиции, большая часть историко-научных учебных кабинетов находили свое место на естественно-научных факультетах, и если бы тезис, защищаемый С. Вайнбергом, был верен, то можно было бы надеяться, что близость к истине (или способность её находить), присущая естествознанию как таковому, могла бы благотворно повлиять на изучающую его историю. Но на деле так, однако, не происходит, и собственно исследовательские функции дисциплины в последние годы и даже десятилетия всё дальше уходят от научных факультетов.

Согласно Кангилему, история науки — это вовсе не история учёных, хотя, безусловно, история учёных — один из тех важных компонентов, без которых историю науки не построить. Главное отличие в том, что жизнь учёного, в отличие от жизни, например, политика, привязывается не столько к событиям, сколько к идеям. События в судьбе человека сопряжены с событиями страны или народа, идеи же учёного развиваются в контексте современной ему науки, что на политических событиях может никак и не отразиться. Поэтому история науки — и в этом центральный тезис Кангилема — не может считаться частью истории. Слишком тесная её связь с миром идей заставляет рассматривать историю науки как фрагмент или, возможно, сырьё для философского анализа.

Размещение историко-научных кабинетов на естественно-научных факультетах имело причины, с одной стороны, очевидные идеологические, а с другой — сугубо прагматические, связанные с потребностями образовательного процесса. Так, на физических факультетах советских университетов история физики была, скорее, физической дисциплиной, а не исторической, и даже сейчас наиболее дисциплинированная история математики в большей степени нашла свой *modus existendi* в математическом куррикулуме.

⁵ «...Histoire des sciences peut passer pour une rubrique plutôt que pour une discipline ou pour un concept », с тако-го утверждения начинается введение (« Introduction : L'objet de l'histoire des sciences ») [Canguilhem 2002 : 9].

4. О дисциплинировании историко-научных исследований

Каламбур, выбранный для этого подзаголовка, заимствован из статьи Лоррейн Дастон «Academies and the unity of the sciences: disciplining the disciplines» [Daston 1999]. Довольно очевидная игра слов строится здесь на двух значениях слова «дисциплина» в английском языке, что сохраняется и в его русском эквиваленте. Речь же в статье идёт о необходимом разделении знания на различные струи, которые уже сейчас довольно мало пересекаются. Более того, они уже довольно мало пересекались в первой половине XIX века, о чем князь В.Ф. Одоевский имел все основания сокрушаться в романе «Русские ночи», приписывая этот пагубный для истории знаний поворот неуместным идеям «Бэкона Веруламского» [Вауик 2002: 189]. Для Дастон это событие значительно более позднее: она приводит слова Даламбера из «Введения» к «Энциклопедии», где размежевание наук сравнивается с картографической проекцией — это условность, выполняемая для удобства одним из множества возможных способов, у каждого из которых есть свои преимущества, поскольку он позволяет увидеть в пейзаже то, что скроет любой другой.

Дастон видит первую причину размежевания (именно в этом, а не в чем-либо другом, в её понимании, состоит «дисциплинирование») в академии, в необходимости разведения академиков по разным кабинетам. Однако даже приводимые ею примеры не поддерживают такой взгляд. Гораздо логичнее предположить, что источник «дисциплинирования» в университете, в необходимости размерить время, проводимое студентом в университете для прохождения куррикулума. Дисциплина рождается вместе с дисциплинусом и необходимостью приведения получаемых им знаний в систему, по возможности замкнутую.

Воспитанные на российских реалиях, мы более или менее привыкли к тому, что университет отделен во времени от академии меньше, чем на одно поколение. В европейской истории эта дистанция больше, но изначальное разделение университета на факультеты слишком грубое, чтобы считать его дисциплинарным, а более тонкая дифференциация появляется после академий, через сравнительно небольшое время и в немалой степени благодаря им. Так что, как ни удивительно, в этом отношении отставание России весьма невелико, если и вообще было.

Между тем, функция академий в Европе раннего Нового времени заключалась не только и, может быть, даже не столько в специализации труда учёных или в институционализации исследовательского труда, сколько в превращении естествознания в идеологию повседневного мировоззрения. Иначе говоря, благодаря академии наука покидает монастырь и поселяется в аристократическом салоне. Вряд ли сейчас кто-то будет всерьёз оспаривать, что наука и как мировоззрение, и как социальный институт старше и академии (где науку делают), и университета (где науке учат), но в XVII в. она становится модной, научное мировоззрение проникает в повседневность, оно овладевает массами. Для истории науки это очень важный поворот дел, потому что на какое-то время история науки оказывается теснейшим образом сопряжённой с историей обыденного сознания.

5. Отрыв науки от общества и квантовый скачок

Очевидный раскол между философией науки, развиваемой на философских факультетах, и философией, существующей в среде учёных, возник относительно недавно. Индуктивистские и кумулятивистские теории конца XIX – начала XX вв. не вызвали никаких трений между физиками или биологами, с одной стороны, и философами — с другой. Положение изменилось с появлением неклассических, или, точнее, постклассических физических теорий — теории относительности и квантовой механики⁶. По мере своего роста, научное

⁶ Подробнее об этом см.: Баяк 2013.

знание неуклонно приближалось к объективной истине. Достичь вновь согласия по этому поводу больше не удастся, сколько бы мы ни говорили о том, что та «истина», о которой рассуждает С. Вайнберг, отлична от той, которая может быть больше принята в качестве таковой в философском сочинении, хотя бы К. Поппер и согласился к 1959 г., что «философы столь же свободны в использовании любого метода поиска истины, как и все другие люди» [Поппер 2004: 14].

Опасения по поводу особой роли постклассических физических теорий и возможного отрыва, вызванного их развитием, профессиональной науки от обыденного сознания, со всей ясностью были высказаны в 1952 г. Э. Шрёдингером в его нашумевшей статье «Существуют ли квантовые скачки» в «British Journal for the Philosophy of Science» [Schrödinger 1952]⁷. Происходящее на стыке теоретической физики и повседневности он уподобляет тому, что случилось с наукой в эпоху эллинизма. Шрёдингер цитирует Б. Фаррингтона: «Самая большая беда научного духа античности состояла в утрате чувства истории. История лежит в основе всего (the most fundamental science), ибо нет такого человеческого знания, которое не утрачивало бы своего научного характера, едва лишь люди забывают обстоятельства, при которых оно возникло» [Там же: 110].

В равной мере это и проблема языка, поскольку Шрёдингер обвиняет современную ему теоретическую науку (квантовую теорию) в использовании терминов (continue musing to each other in terms), понятных от силы небольшой группе экспертов (small group of close fellow travellers). Именно в использовании этого языка и заключается утрата исторического чувства, за которой следует отсечение от этой теоретической науки всего прочего культурного человечества (the rest of cultural mankind) [Там же: 109].

Эта работа Шрёдингера подвергалась разнообразной критике сразу после её появления. Однако в ней много справедливого. Физическая теория в послевоенной Европе перестала быть моделью научности и строгости, а наука о природе в значительной степени перестала служить моделью рационального отношения к действительности даже для большого числа научных работников, не говоря уж о людях, чья профессиональная деятельность не связана с производством нового знания.

Есть довольно много возражений, которые можно выдвинуть и с позиций современности. Из них уместно, на мой взгляд, сослаться на две. Во-первых, хотя два кита классического естествознания — математика (прежде всего, геометрия и математический анализ) и классическая механика — перестали быть эталоном научности, на их место пришли другие науки, которые не все из нас готовы признать таковыми (например, та же история, филология или политическая экономия [См.: Баюк 2007]), но это ещё не повод а priori отрицать их способность служить основой критического и рационального отношения к действительности.

Во-вторых, «квантовый скачок», пережитый человечеством во второй половине XX в., привёл к довольно-таки парадоксальному феномену. Возвращение теоретической физики в культурное пространство происходит сейчас благодаря одной из наиболее экзотических интерпретаций квантовой теории⁸. Это так называемая многомировая интерпретация, предложенная в 1957 г. Хью Эвереттом III. Его теория, вызвавшая, согласно легенде, бурное негодование Нильса Бора в конце 1950-х, с живостью и восторгом была воспринята чувствительной к искусству публикой в начале 2000-х. Между тем, эта теория появилась не на пустом месте: ей предшествовала знаменитая идея интегрирования по путям нобелевского лауреата Р. Фей-

⁷ Появление сравнительной степени у прилагательного «fundamental» в приведённой цитате хотя и странно для Шрёдингера, филолога по образованию и склонностям, однако вполне симптоматично. Мы находим его и в книге С. Вайнберга (правда, не в подзаголовке — слова «физика в поисках самых фундаментальных законов» принадлежат переводчику, но не исключено, что «ultimate laws» — работа американского редактора). По-видимому, у очень хороших физиков было (и есть) ощущение определённой ненадёжности существующего фундамента и надвигающейся необходимости опереть его на что-то более прочное.

⁸ Предыдущее бурное оживление культурной жизни в связи с весьма экзотической физической теорией, теорией относительности Эйнштейна, происходило в начале XX в. Об этом подробнее см. в: Canales 2015.

нмана. Согласно Фейнману, если электрон путешествует в пустоте от эмитера до детектора, то чтобы вычислить результат измерения, произведённого на детекторе, надо сложить вклады (амплитуды вероятности) от всех мыслимых траекторий электрона, соединяющими эти две точки. Классическая траектория даст максимальный вклад, но и вклад любой другой траектории не будет нулевым.

Эта теория оказалась очень полезной в тех случаях, когда невозможно так называемое каноническое квантование, сыгравшее колоссальную роль в построении теории атома, атомного ядра и квантовой электродинамики. Речь о теориях, в которых поле, переносящее взаимодействие, действует само на себя: прежде всего, это квантовая хромодинамика (теория сильных ядерных взаимодействий), поскольку глюоны не только «приклеивают» друг к другу кварки, но и «склеиваются» сами с собой.

Тем не менее в теории Фейнмана оставался без ответа вопрос, откуда берутся все прочие траектории, если электрон один. Он может пропутешествовать только по одному пути, пусть и не самому вероятному. Множественность путей хорошо объясняется существованием множества вселенных, в каждой из которых есть только один электрон, движущийся только по одной траектории. Между вселенными нет взаимодействия, однако до того, как произведено измерение, между электронами разных вселенных возможна квантовая интерференция. В этом и состояла исходная идея Эверетта⁹.

6. Плюралистический контекстуализм и Историзм научной популяризации

Малейшая попытка вывести задачу историка науки за пределы жизнеописания учёного и литературоведения научных сочинений ставит перед ним проблемы, характерные не столько для исторического, сколько для философского исследования, но у него есть и некоторые преимущества. Если сама по себе множественность историографических описаний и приводит его к некоторым философским затруднениям, то он все-таки имеет перед собой ясно очерченную проблему, что совсем не так для философа, который, по словам Поппера, «сталкивается не с какой-либо сформировавшейся концептуальной структурой, а скорее с тем, что напоминает груды развалин (хотя под ними, возможно, покоятся сокровища)» [Поппер 2004: 11].

Множественность, подразумеваемая постановкой историко-научной проблемы, проявляется не только в множественности историографических описаний, но и в множественности тех исторических контекстов, в которых существует описываемый объект. В простейшем случае таких контекстов всего два: современный тому, кто описывает, и современный тому, что описывается. Если во внимании удерживается лишь один из них, то мы говорим либо о презентизме (удерживается только первый), либо антикваризме (удерживается только второй). В праве на поиск истины историку науки так же нельзя отказывать, как и никому другому, и трансцендентальный характер искомого ни в коей мере не может тут служить препятствием: мало ли трансцендентальных идеалов так или иначе попадают в поле зрения философа. Однако общий множественный контекст, в котором работает историк науки, заставляет задуматься о множественности отыскиваемой им истины, и поэтому, в соответствии с тезисом Кангилема, по своей природе его работа ближе к работе философа, чем к работе историка¹⁰.

Но есть ещё один важный аспект, о котором необходимо упомянуть в связи со всем сказанным выше и в особенности в связи с обвинениями С. Вайнберга против философов. Речь о популяризации науки. Если посмотреть на то, что происходит в этой области литературного творчества, имеющего отношение к науке сегодня, то станет ясно, что она практически пол-

⁹Подробнее о ней см.: Дойч 2001.

¹⁰На мой взгляд, философский смысл историко-научного исследования хорошо проясняет сравнение его с искусствоведением, в особенности с историей музыки, однако подробно развивать здесь эту тему я не буду.

ностью отдана на откуп так называемым научным журналистам, среди которых, надо признать, есть немало очень талантливых и образованных людей. Если говорить о профессиональных историках науки, то в последние годы лишь двое из них непосредственно приблизились к заметному публичному признанию — получению престижной премии «Просветитель», но успеха так и не добились¹¹. И всё же практически никакая научная популяризация без истории науки невозможна: о чем бы ни заходила речь, возникает необходимость рассказать читателю, откуда это всё взялось. Собственно, почти любое научное исследование начинается с истории, хотя в этом случае исторический экскурс, как правило, ограничивается литературным обзором.

Внимание к истории науки в последние годы заметно также и среди журналистов, не специализирующихся на околонучных темах. Так, в ходе «Мартовских диалогов» 29 марта 2015 г. в библиотеке им. В.В. Маяковского в Санкт-Петербурге по крайней мере в одном речь шла о достоверности исторических знаний в ключе, довольно близком тому, в котором та же проблема обсуждалась в начале статьи¹². Один из участников этого диалога, А.Г. Невзоров, если судить по его колонкам на сайте Snob.ru, появившемся в этом году, даже планирует издать книгу, то ли целиком посвящённую истории науки, то ли посвящённую иным темам, для которых сюжеты из истории науки имеют большое значение¹³. Заметно участились обращения к историко-научным сюжетам в радиопрограммах и авторских колонках Ю.Л. Латыниной. Эти популярные журналисты, безусловно, значительно лучше любого историка науки чувствуют общественную потребность в знании, в том числе в знании о прошлом самого знания. Как уже говорилось, суждения о прошлом знания, а тем более о его истинности или об истинности таких суждений, приводит к философским проблемам, которые, как нетрудно убедиться, легко ускользают из поля зрения упомянутых авторов, при том что они весьма важны. И тут для историка науки есть очень важная сфера приложения усилий.

Выше уже говорилось об очевидной междисциплинарности историко-научного исследования: методы гуманитарных наук или философии применяются для исследования процесса получения естественно-научного знания. Как и в случае большинства междисциплинарных исследований, историк науки нацелен на более или менее конкретную частную задачу, и в этом смысле его работа должна считаться скорее прикладной, чем фундаментальной, хотя нередки случаи, когда прикладное исследование приводит к решению фундаментальной проблемы.

Таким образом, постановка проблемы современного контекста для историко-научного исследования раскрывает его посредническую функцию в сложном и многостороннем процессе коммуникации нескольких социальных слоёв, по отношению к которым возможны подозрения в утрате взаимопонимания.

Баюк Д. 2013. Научная контрреволюция наших дней. — *Отечественные записки*. — № 1.

Баюк Д. 2007. Торжество политэкономии знаний. — *Компьютерра*. — № 21 (от 13 июня). — Доступно: <http://old.computerra.ru/offline/2007/689/321874/>. — Проверено: 2.10.2015.

Вайнберг С. 2004. *Мечты об окончательной теории: физика в поисках самых фундаментальных законов природы*. — М.: Эдиториал УРСС.

¹¹Имеются в виду книги: Горелик 2013; Дмитриев 2015. Первая попала в шорт-лист в 2014 г., но в итоге жюри отдало предпочтение работе: Казанцева 2014. Книга Дмитриева проходила по конкурсу в 2015 г., но в шорт-лист не попала.

¹²Записи бесед доступны онлайн на сайте: <https://meduza.io/feature/2015/03/30/martovskie-dialogi-video> (проверено 2.11.2015).

¹³См. все эти колонки на сайте: <http://snob.ru/selected/blog/428/author/20736> (проверено 2.11.2015).

- Гадамер Х.-Г. 1988. *Истина и метод*. — М.: Прогресс.
- Горелик Г.Е. 2013. *Кто изобрёл современную физику? От маятника Галилея до квантовой гравитации*. — М.: Corpus.
- Дмитриев И.С. 2015. *Упрямый Галилей*. — М.: НЛЮ.
- Дойч Д. 2001. *Структура реальности*. — Ижевск: РХД.
- Казанцева А. 2014. *Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости*. — М.: Corpus.
- Никифоров А.Л. 2010. *Философия науки. История и теория*. — М.: Идея-Пресс.
- Печенкин А.А. (ред.). 2007. *История науки в философском контексте*. — Спб.: Изд-во РХГА, 2007.
- Поппер К. 2004. *Логика научного исследования*. — М.: Республика.
- Поппер К. 2008. *Предположения и опровержения. Рост научного знания*. — М.: АСТ.
- Уайт Х. 2002. *Метаистория: историческое воображение в Европе XIX в.* — Екатеринбург: Изд-во Уральского университета.
- Bayuk D. 2002. Literature, Music, and Science in the Nineteenth Century Russian Culture: Prince Odoyevskiy's Quest for a Natural Enharmonic Scale. — *Science in Context*. — Vol. 15. — No. 2.
- Canales J. 2015. *The Physicist and the Philosopher: Einstein, Bergson, and the Debate That Changed Our Understanding of Time*. — Princeton: Princeton univ. press.
- Canguilhem G. 2002. *Etudes d'histoire et de philosophie des sciences*. — Paris: Librairie philosophique J. Vrin.
- Daston L. 1999. Academies and the Unity of the Sciences: Disciplining the Disciplines. — *Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies*. — Vol. 10. — No. 2.
- De Ruggiero G. 1913. Il pensiero di B. Croce. La storia vivente. — *Scritti politici 1912–1926 / a cura di R. De Felice*. — Bologna Cappelli, 1963.
- Feuerabend P. 1993. *Against method*. — L.; N.Y.
- Schrödinger E. 1952. Are there quantum jumps. — *British Journal for the Philosophy of Science*. — Vol. 3.